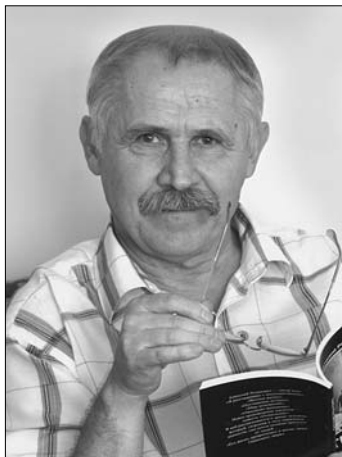


ГЕОРГИЙ МАРЧУК



ДАНИЛА ШТОВБА

РАССКАЗЫ

Изредка, но встречаются такие люди, как Данила Штовба. Неугомимая природа, кажется, наделяет их упрямым, решительным характером чуть ли не с пелёнок. Такие, как он, проложат первую тропку по тонкому льду на речке, бросятся спасать коня или корову в охваченный пламенем сарай, такие, как он, придумывают прозвища своим послушным и скромным друзьям, могут легко обидеть женщину и, не краснея, долго смеяться ей вслед. К их словам, суждениям прислушиваются, охотно с ними советуются, но денег займы не дают. Таков был Данила. Деньги в долг давал очень редко и лишь тому, кто, по его мнению, вернёт долг в срок. Такие, как он, пьют за свои деньги редко, но не прочь дербалызнуть на чужие. Бывает, расщедрятся от чарки-другой и тогда угощают за свой счёт всех, кого попают: и друзей, и незнакомых. Порядок их тяготит, но на работу ходят с охотой, потому что знают, что на любой работе можно, как закон, что-то урвать для себя. Но на государственной службе не надрываются, не утруждают себя, сделают самое необходимое и — баста. Таков был Штовба, и хоть уважали его все, даже ставили своим детям в пример, гордились дружбой с ним, но любили и уважали его словно бы осторожно, с оглядкой, чтобы, не дай Бог, не обидеть или слово молвить наперекор.

Односельчане, бывало, спрашивали его: “Отчего у тебя, Данила, такие огрубевшие руки?” Вспыхивал он, отвечал сурово, осуждая бездельника:

МАРЧУК Георгий Васильевич родился в 1947 г. в Давид-Городке Брестской области. Окончил Белорусский театрально-художественный институт и Высшие курсы сценаристов и режиссеров в Москве. Прозаик и драматург. Автор многих книг прозы и пьес. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь. Живет в Минске.

“Потому что не ленюсь, как ты. А всю жизнь надрываюсь. Хату сам построил, сад посадил, детей вырастил, на ноги поставил, о! Потому что знаю, почём фунт лиха! Хе!”

И если бы кто со стороны приехал в деревню Низовку, которая всего лет сто как родилась у самой Пущи, и спросил: “Покажите мне счастливого человека”, — нет сомнений, что большинство сельчан указало бы на хату Штовбы. Дерзкий был мужик. Казалось, выползи из пущанского болота чёрт, и тому Данила нашёл бы силу и смелость дать щелчок по носу, ведь за спиной стояли заступники, его радость, гордость, надежда: три сына.

“Повезло Даниле, — говаривали люди, — за сыновьями, как за каменной стеной: и сена накосят, и картошку уберут, и дров привезут. Сто лет Данила будет жить. Сыновья и от смерти защитят. Вот удалися! Серьёзность, трудолюбие, настойчивость — это от отца, — говорили люди, — а душевность, мягкость, незлобивость — от матери. Жаль, что её, беднягу, рано болезнь в могилу свела, не успела детьми натешиться”.

Данила гордился сыновьями. Нет-нет, да и похвалится ими в компании или пристыдит пьяненького парня, приведёт в пример своих, толковых: Ивана, который руководит в областном центре всем профсоюзом табачной фабрики, Гришу — шофёра в райкоме, Женью (младшего), который только что окончил учёбу в Академии (Данила любил повторять это слово) и вернулся агрономом в родную деревню. Данила и сам не сомневался, что за такими работающими сыновьями, чуткими невестками, умными и непоседливыми внуками проживёт сто лет. Удивительно, но со стороны казалось, что он не подвластен времени, что ничто не может состарить его. Сам Данила любил повторять в кругу одногодков (а ему перевалило за шестьдесят):

“Ты до тех пор царь на земле, пока она, жизнь, не завладела твоим духом, не пополнила отчаянием перед новым днём, тоской и одиночеством. Здесь граница, здесь очень важно не пасовать перед жизнью. А смерть от болезни, хлопцы, старости, увечья, не дай Бог, но это для меня... привычное дело. Миллионы так умирают. Нет, ты меня возьми голыми руками, чтобы я сдался, признал твою власть, чтобы отрёкся, смирился с твоей силой. О, тогда будет по справедливости, по Божьему закону. Тогда я буду равен Богу”.

До пенсии Данила работал в сельмаге. Работал исправно. Надобны были рабочие руки, закрывал магазин и шёл вместе со всеми косить, убирать картошку, заготавливать дрова. Никогда не обманывал односельчан, не вешал писульку: “Поехал в район на базу”, — а сам прятался за высоким забором и работал на собственном огороде. Если писал, что поехал за новым товаром, ехал и привозил. Создал магазину славу и товарами, и дисциплиной, и уважением к пайщикам. Что просили они, что заказывали, — всё доставал. Каким образом или каким чудом это ему удавалось на протяжении голодных и трудных лет в сельской кооперации, один Данила и знал.

Вёз районному, областному начальству самогон, домашний мёд, сушёные грибы, кроликов, но если обещал своим, что привезёт белые нейлоновые сорочки, или модный костюм, или электрический утюг, то привозил. Может, поэтому его и попросили (начальство и люди) поработать ещё и после пенсии. Особенно необходимы были всем его зоркий глаз, опыт и, чего греха таить, связи сегодня, когда наезжали “Жигули” из соседних районов, даже из соседних республик и сметали, словно ненасытные воры, всё с прилавка.

Был май. Песенно-светлый месяц, когда всё полнится новой силой, жаждет любить и невыразимо желает жить. Нет, ничего ужасного он Даниле не принёс. Наоборот, в мае Женья (самый скромный и застенчивый сын) однажды вечером признался отцу, что хочет жениться, что подали вчера заявление. Почему до сих пор молчал?

— Да так. Не было полной уверенности, что девушка пойдёт за меня.

Услышав такое, отец в глубине души обрадовался. Сыну — двадцать пять лет. Холостная жизнь не любит таких, как он, — рассудительных, послушных. Таких тянет домой сильнее, чем в клуб на танцы.

— И кто же она? — поллобпытствовал Данила.

— Вера.

— Чья дочь?

— Марии Монич.

— А-а, — протянул Данила, — А что? Хорошая девка, — резко добавил, как отрезал, и даже оглянулся по сторонам, словно сам не ждал от себя подобных слов. — И давно ты с ней?

— Порядочно. Полгода серьёзно ходим, — ответил Жёня.

— Ну, и слава Богу. Тут я тебе не судья. Не мне жить, а тебе. Давай спать, — неожиданно предложил Данила. Жёне показалось, что голос отца задрожал.

Всю ночь Данила проворочался в постели. Сон не брал его, будто в глаза кто-то вставил распорки. Хоть ты их залей цементом. Щемящее волнение, счастливые надежды овладели, казалось, всем его сердцем, оставив лишь маленький кусочек беспокойства. Чувство тихой, почти забытой тревоги нарастало с каждой минутой, едва его мысли возвращались к Вере. Жгучее беспокойство принуждало Данилу вновь и вновь возвращаться к воспоминаниям, к одному и тому же дню далёкого и такого близкого тысяча девятьсот сорок четвёртого года.

Год тот, когда пришло долгожданное освобождение, выдался для деревни Низовка, пожалуй, самым тяжким за всю оккупацию. Именно с весны этого года особенно зверствовали по всей округе каратели. Враг мстил за свои неудачи и поражения всему живому на земле: человеку, деревне, полю, дереву, птице. Штовбу, которого не успели мобилизовать (да не его одного, таких было немало в западных областях Белоруссии), забрал к себе в уездную управу дядя.

Был там Данила всю войну за истопника, за писаря и за помощника старосты. Надо сказать, что, когда в конце сорок второго года объявились в Пуще партизаны и когда люди вышли на молодого в ту пору служащего уездной управы, Данила без долгих колебаний дал подписку помогать отряду “Бура”, который базировался в десяти километрах от Низовки. Назвать её деревней в то время можно было с большей долей условности, более подходящим было название “хутор”. Деревянные серые дома были разбросаны вдоль единственной улицы на расстоянии триста—семьсот метров друг от друга. Обособленные от большого мира, занятые вечной крестьянской работой на своих загонах и урочищах, хуторяне жили на удивление дружно, без дикой зависти к удаче соседа. Испокон веков велось такое дружелобие.

Однажды встревоженный и бледный староста позвал Данилу к себе в комнату и взволнованным голосом произнёс:

— Беги, Данила, в Низовку. Спасай своих. Передай, пускай все прячутся, убегают. Есть приказ уничтожить деревню за связь с партизанами. Тебя послушают. Сюда больше не возвращайся. Капут немцу. Неделя-две — и русские будут здесь.

— А как же вы, дядя?

— Я не могу. Повязан я с ними одной верёвочкой. И нагадил изрядно. Мне Советская власть не простит. Беги! Чёрт их знает, намечают после обеда, а могут выбраться и сейчас.

Данила выбежал на крыльцо, схватил свой велосипед.

— Не бери. Пускай твой стоит на виду. Иди ко мне и возьми мой велосипед. Беги, сынок. Брату моему поклонись. Может, и не доведётся больше увидеться. Беги!

Люди доверяли Штовбе. Был уже случай, когда Данила предупредил своих об опасности. Вооружённый до зубов враг явился тогда в пустую безлюдную деревню. Люди надёжно укрылись в пушанском болоте и даже скотину — двух лошадей и трёх коров — спасли от прожорливых захватчиков. Большого вреда тогда враг не принёс. Сжѐг один лишь хутор — и чем он казался им подозрительным?

Сейчас время было иное. В Низовке жили беженцы из соседней деревни Дубки, чудом спасшиеся и принесшие страшную весть: враг не щадит никого, убивает, если убегаешь, сгоняет всех в сарай и живьѐм сжигает. Беженцам поверили. Нельзя было не поверить, глядя на их слѐзы, испуганные лица, страх и тревогу в глазах.

Данила успел предупредить свою деревню, можно сказать, в последнюю минуту. Со стороны Дубков уже доносился гул приближающихся машин. Собрались все у хутора Штовбы и оттуда толпой бросились бежать к Пуще, к старому месту, к болоту, где нашли спасение в прошлый раз. Бежали напрямик по ржаному полю, чтобы поскорее добраться к “подсочке”. Так издавна называли гряду сосен. Нанимались в старину к пану на работу, надрезали сосны и вековым дедовским способом собирали смолу.

По этому “подсочнику” бежать было ещё трудней. Да и люди ослабли. Данила без лишних слов стал верховодить людьми.

Одному помогал, другого подталкивал, на третьих (женщин с детьми) покрикивал.

Женщины с детьми бежали последними. Жена Данилы тащила за руку сына, невестка Войтешенка несла на спине своего пятилетнего Казика и Мария Монич прижимала к груди шестимесячную дочь.

— Давай! Давай! Скорей! — крикнул Данила и подхватил на руки сына. Посадил внука себе на плечи и Войтешенка. Никто не помог лишь Марии. Её отец, трусивший рядом, — чахоточный Кузьма — совсем выбился из сил. Его подхватил под руку сосед Аскерка и помог одолеть последние метры перед лесом.

Дочь Марии всю дорогу, не переставая, плакала. У матери не было возможности остановиться хоть на секунду и успокоить дочушку. Всех гнал прочь от хуторов самый неумолимый погонщик — страх. Его добавилось ещё больше, когда у самого леса, оглянувшись, люди увидели вражеские машины.

Начиналась Пуща. И оставалось лишь гадать: заметил враг спины людей или нет? А ребёнок Марии плакал, не переставая.

— Да успокой ты её! Твою мать... Погибнем! — закричал на Марию Данила.

Мария покачала на руках дочку, но та не умолкала. Громкий плач ребёнка повис над лесом, звенел, возвращался эхом к людской толпе.

— Не могу её успокоить! Хоть возьми да брось! — вырвалось у Марии.

— Правильно. Бросить её надо. Выдаст она нас. Смерть на всех накличешь! — рискнул предложить Данила. — Не бери грех на душу! Бросай тут. Потом вернёшься.

— Ты что, Данила? Убьют ведь её. Как же так? Люди, скажите ему, нельзя же так...

— Коли жить не хочешь, сама оставайся. Она плачем выдаст всех! Куринные твои мозги!

— Я успокою её, — не поверила Мария, уставившись на людей.

Люди, на секунду остановившись, стояли неподвижно, безмолвно соглашаясь со словами Данилы.

— Господь спасёт. Потом, доченька, вернёмся сюда. Пожалей людей, — не подымая глаз, сказал Кузьма.

Гул машин приближался. Всем показалось, что он совсем рядом, идёт от “подсочника”. Охваченные новым приливом страха, люди бегом бросились к болоту.

— Кидай под орешник. Богом прошу! — взмолился Данила.

Словно загипнотизированная, не понимая, что она делает, Мария положила дочку, которая плакала не переставая, под куст орешника и в невыносимом отчаянии, зажав рукой рот, чтобы не закричать на весь белый свет, побежала вслед за людьми. Кто-то подхватил её под руку, помог. Вскоре прибежали к болоту. Прижавшись спинами друг к дружке, сели на холодную землю. Проглотили тишину и сами, похоже, стали тишиной. Долго, невыносимо долго сидели молча, прислушиваясь к каждому крику, звуку, шороху. Жена хотела о чём-то спросить Данилу, но не успела открыть рот: он сильно ударил её рукой по лицу. Был он тогда в страшном гневе. Если бы заплакал сейчас его сын, он бы, не колеблясь, велел утопить его в болоте.

Всё время, как безумная, вперив глаза туда, где осталась дочка, неподвижно сидела Мария. Стемнело. Потянуло холодом. Люди зашевелились, заговорили.

— Как там доченька моя? Ещё волки съедят, Данила, — первое, что сказала нараспев, точно оплакивая дитя, Мария.

— Господь не даст в обиду невинное дитя. Зато ты нас спасла. Благодарность и уважение тебе будет на всю жизнь, — заверил Марию Данила.

— Я же не смогу жить, Данила! Пойду к ней. Пустите меня.

— Может, пойдём домой, Данила? — тихо предложил Аскерка.

— Ещё надо высидеть. А если там засада? — Кузьма схватил дочку за руку, не пустил. Прошёл ещё час.

— Я пойду. Не могу больше — пусть они меня застрелят или ты меня убей! — подхватила Мария.

— Подожди, доченька, вместе пойдём, — крихтя, поднялся на ноги и Кузьма.

На этот раз Данила им не перечил.

Летняя ночь пролетела быстро. Зашевелились люди и пошли за Марией, навстречу рассвету.

— Доченька! Дочущка моя! Доченька! — всё время слышалось впереди. И этот материнский голос служил остальным как бы паролем. Отчаянный крик нечеловеческой радости, счастья всколыхнул старую Пущу.

Все поняли, что Мария нашла свою дочь живой, и побежали к ней. Девочка лежала под тем же кустом орешника. Молчала. Усталость высосала из неё слёзы. Кузьма поднял с земли плитку шоколада.

— Глупый немец шоколад ребёнку оставил.

— Почему глупый? — поправил Кузьму Данила. — Этот был как раз умный, а все остальные — дикие звери.

Всем сразу стало легко на душе, словно сняли у каждого с плеч тяжкий камень невидимой вины перед этим несмышлёнышем.

Той шестимесячной девочкой и была нынешняя невестка Данилы Вера Монич. Пришла победа, вернула в Низовку счастье, труд, покой. Война забрала трёх односельчан. Погиб под Варшавой и партизан Вася Монич — отец Веры. Сожжённую деревню отстроили, вернули ей былую красоту.

Постепенно забывались ужасы войны. Жизненные заботы — как поставить колхоз на ноги, как вырастить детей, чем накормить, во что одеть — брали своё. Напомнили Вере про тот случай неожиданно, когда девушка выросла, выучилась и приехала в родную деревню учительницей.

— Ужас, что было... Оставили мы тебя одну под кустом ночевать. Во всём война виновата. Но под счастливой звездой ты родилась, — частенько говаривал ей нынче уже дед Аскерка.

Мать неохотно вспоминала тот день, и когда Вера приставала с расспросами, Мария отнекивалась:

— Отвяжись. Что было, то быльём поросло. Жива-здорова, и слава Богу. Может, и нам Бог грех простит.

С годами Мария становилась всё более набожной.

Веру любили в деревне. Девушка всем удалась — и лицом красивая, и характером скромная, и сердцем добрая. Дети тянулись к ней, как ни к кому другому, и она не жалела для них своего времени. Вела школьные кружки художественной самодеятельности (драматический и танцевальный). Не было случая, чтобы она не навестила больного ученика. А ещё успевала вести для родителей вечерний университет, который, кстати, по её инициативе был создан при сельском клубе. Её лицо с маленьким носиком и озорными голубыми глазами, кажется, никогда не покидала улыбка. Вера вся светилась радостью и молодостью и готова была с каждым поделиться своим оптимизмом. Полюбила она Женю преданно, горячо, сильно. Иначе и не умела, и не смогла бы, потому что лгать не научилась, прикидываться влюблённой не сумела бы, как не сумела бы и утаить свою любовь.

“Ишь ты! Молодая, не успела опериться, а какой авторитет у людей имеет”, — думал Данила.

— Где же, сынок, жить порешили, когда поженитесь? — спросил отец сына.

— А нам без разницы. Могу к ним пойти, могу сюда привести. Как вам лучше? — советовался сын.

— Моя песенка спета. А тебе жить. Чего в примы идти? Места у нас мало, что ли? Надо, как испокон веку заведено, молодую вести в хату жениха. Только давай так, сынок, поступим: поставь на веранде баллон и газовую плиту. Будет вам временно до зимы кухня.

— Папа, — хотел что-то сказать Женя, но отец не дал ему слова.

— Молчи. Я пока тут хозяин. И вход пусть у вас будет отдельный. Учитесь жить самостоятельно. Ты же мой характер знаешь, начну поучать. Не все молодые любят, чтобы их учили, как жить. Вон жена твоего брата надулась и с той поры носа не кажет.

— Вера не гордячка.

— Делай так, как я сказал. И всё тут.

Хорошая была свадьба. Не стал приглашать Женя инструментальный ансамбль из районного Дома культуры, как делали все, а по просьбе отца нанял музыкантов из Дубков. Те, хотя и были уже в годах, но скрипочкой, кларнетом, бубном и гармошкой поддали такого жару, что никто не мог усидеть на месте: и пели в охотку, и танцевали от души. В минуту родительского благословения Данила поцеловал молодых. В знак благодарности поцеловала своего свёкра и Вера. Губы девушки показались Даниле колючими.

“Нехотя она меня поцеловала, нехотя”, — запала в душу с той поры недобрая мысль.

Угомонилась свадьба знаменитым маршем “Прощание славянки”. Его на третий, на последний день, отправляясь домой, грянули уставшие музыканты. Начались будничные заботы, покатила жизнь по привычной колее, о которой, казалось, все забыли за праздничными столами и весёлым настроением.

Ужинали Штовбы обычно вместе, за одним столом. Данила украдкой следил за невесткой, всё хотелось ему поймать её укоризненный взгляд. Но напрасно. Никаких изменений в поведении Веры не произошло. Она по-прежнему была доброжелательной, внимательной и заботливой. Мать Веры за дни, прошедшие после свадьбы, так и не пришла проведать дочку. “Она и до сих пор ко мне не приходила”, — успокаивал себя Данила и, как и прежде, сам стирал себе бельё, сорочки, носки. Реже он стал приходить на ужин. Придумывал самые невероятные причины. На самом деле он боялся, что однажды их глаза встретятся, и в её взгляде он прочтёт приговор себе. Суда он боялся. Вот оно что! Он даже вздрогнул. Наконец, прояснилась причина его душевной тревоги: он, как огня, боялся её осуждения. А что Вера? Она, как и прежде, относилась к нему с доверием и сочувствием. “А может, она не знает всей правды?” — приходила в голову Даниле и такая мысль.

— Данила, не заболел ли ты случаем? Как ни приду к тебе в магазин, ты сам на себя не похож. Печальным стал, — заметил коренастый дед Аскерка.

— К финишу идёт дело, Афанасьевич. К человеку приходят уже невестельные мысли, — уходил от ответа Данила, а сам мучительно думал: “А что, если она умело притворяется? Ждёт, когда я обругаю её, обижу и уже тогда выложит всё, выговорится, опозорит перед сыном на веки вечные. Дурень я старый. Надо было ещё перед свадьбой всё рассказать сыну, — упрекал себя Данила. — Ну, что за жизнь настало!”

И чем больше старался Данила осмыслить свои неожиданные да и знакомые ему (потому и страшился их) душевные муки, чем больше анализировал характер и поведение невестки, тем меньше интересовался всем остальным, потихоньку становился равнодушным, замкнутым и даже заметно нервным, раздражительным.

Плохо стало ему на работе после обеда. Слово клещами сдавило голову, сжало повыше затылка, всё поплыло перед глазами, и Данила упал, потеряв сознание. На счастье в магазине в то время оказалась внучка деда Аскерко. Беременная заведующая фельдшерско-акушерским пунктом, она боялась перед родами оставаться одна в доме и ходила то в клуб, то в магазин, то к себе на работу. Внучка Аскерко достала из холодильника лёд, приложила к голове Данилы. Побежали, нашли Женю. Он вызвал из района “Скорую помощь” и отвёз отца в больницу. Старик на удивление и к радости

родных быстро оправился. Через две недели попросился домой. Лишь небольшая бледность на лице да отблеск страха в глазах напоминали о недавней болезни, да правая рука всё ещё не слушалась.

Вера, не считаясь со временем, смотрела за Данилой, как за родным отцом. Привезла одна учительница с Украины пух, Вера купила у неё (причём, долго её уговаривала), сделала две новые подушки и принесла свёкру. Она доила корову, убирала в доме. Едва выпадет в школе свободная минута, бежит домой, чтобы подогреть Даниле суп или бульон.

— Снова вы ничего не едите. Вот сяду и буду сидеть до тех пор, пока вы не пообедаете, — настойчиво говорила она Даниле. И сидела, и ждала.

Однажды Данила не выдержал, бросил ей колочее, наболевшее:

— Как же ты можешь, Вера? Или притворяешься, или заставляешь себя переступить порог моего дома? Разве ты не знаешь о том случае в сорок четвёртом, когда мы... бросили тебя умирать под орешником? Я... я велел так поступить твоей матери, я! Почему молчишь, коли знаешь? Скажи мне что-нибудь, плюнь в лицо, прокляни, только не молчи. Если ты всё знаешь, почему ты так спокойно живёшь, почему не осуждаешь меня? Или ты не знаешь о том ужасном случае? — Данила чуть не задохнулся от волнения, по всему телу пробежала дрожь.

— Знаю, папа, знаю. Мне мама перед свадьбой обо всём рассказала. — Ни один мускул не дрогнул на лице Веры после такого признания. Слово “папа” прозвучало для Данилы впервые и щемящей нежностью проникло в сердце.

— Ты святая, что ли? Не понимаю. Зная всё, ты не судишь меня, не позоришь? Как же так? Даже не злишься. Неужто простила на веки вечные, не желаешь мне зла, смерти не желаешь?

— Желаю только добра. Тогда время было такое. Паника, страх. Вы и сами не ведали, что творили. Людей же спасать надо было. Вы не волнуйтесь, вам нельзя так волноваться, папа. Не судья я вам.

— Кто же тогда судья?

— Не знаю. Я на вас никогда зла не держала. Честное слово.

— Хорошо... Я верю. Хорошо. Оставь меня, доченька, я полежу чуток, потом суп съем. Обещаю, что всё съем. Ты иди. Дети ждут. Прости. За всё прости. Иди.

Оставшись один, Данила лёг на чистую постель, зарылся с головой в новые пушистые подушки, до крови закусил губу и горько, навзрыд заплакал. Он искал облегчения, а на душе стало ещё тяжелее. Десять лет он не плакал. “Неужто она и вправду всё простила? Она же должна меня ненавидеть”. Не хотел Данила понять Веру, не хотел принять её великодушия. Не понимал. Изболевшейся душе его расхотелось жить. Так, отвернувшись к стене, со слезами на глазах, прикусив губу, Данила Штовба и умер.

КОГДА ИГРАЛ АККОРДЕОН

Старенький чёрный телефонный аппарат стоял в учительской на подоконнике, в уголочке, но это не изолировало присутствующих, не создавало конфиденциальности разговоров. Может быть, кто-то и делал вид, что ему, мол, всё равно, о чём говорят по телефону, но тот, кто держал в руках телефонную трубку, даже спиной чувствовал, что находившиеся в учительской краем уха ловят каждое произнесённое слово.

Афишируя свою жизнь, больше всего подливала масла в огонь некрасивая, высокая преподавательница математики. Она уже трижды возила товар на продажу в Польшу и дважды летала за шмотками в Стамбул. Она же первая принесла и с ехидной улыбкой искушающе показала всем доллар. Пришло время, когда все, в том числе и учителя (они, правда, с опозданием), бросились спасать свой домашний бюджет мелкой торговлей. Ещё с интересом и вниманием к собеседнику делились суперновостями: где и как лучше идёт товар, а где такой же точно товар берут за бесценок. Однако же не все могли вслух похвалиться по телефону знакомым своим торговым счастьем.

Кто-то, попробовав однажды этого “сладкого хлеба”, дал зарок не стоять больше со спичками, топорами, сухой колбасой на базаре в каком-нибудь польском местечке. Так, волей обстоятельств и свойств характеров, женщины-преподавательницы разделились как бы на два лагеря: одни ежедневно болтали по телефону про товар, цены и деньги, другие — про семью (изредка), детей и любовников (чаще).

Сорокалетняя Тамара, пухленькая, маленького роста, круглолицая преподавательница химии, относилась к себе, если не придирались, ко второй группе. Она одна, дожив до этих лет, ещё не имела, в отличие от большинства, любовника. И не потому, что была уж такая моралистка с суровыми пуританскими взглядами. Она и сама не ответила бына вопрос, почему так сложилось? Видимо, потому, что была она женщиной открытой, искренней, не любила притворяться и поэтому всем делилась с коллегами — по большей части, хорошим, не делая из себя и своей жизни какой-то тайны. Было такое время, когда ещё можно было, не стыдясь, выносить домашние склоки на общественный суд. Так жило большинство: ни бедно, ни богато. Её Николай, к тому же, пил. Тихий такой был выпивоха, нельзя сказать, что алкоголик, однако из тех, которых разбуди среди ночи, дай сто граммов — выпьет. Не за что было хвалить мужа, как не за что было и бесчестить. Больше того, все знали, что верховодит в семье Тамара, что её послушный и молчаливый Николай прямо пляшет перед женой: “Тамарочка моя, что тебе принести? Что подать? В какой магазин сходить, что купить?”

“С таким послушным и незлобивым человеком не жизнь, а путешествие на палубе комфортабельного теплохода”, — не без некоторой зависти говорили преподавательницы-подруги. Одно только донимало Тамару, портило настроение, отравляло некоторым образом всю жизнь: её муж, неразговорчивый служащий музея, не любил телефон и никогда не звонил жене на работу. Если и случался на людях между ними телефонный разговор, то исключительно по её инициативе. Теперь же, когда раскрепостились тайные желания и страсти, когда перестали обращать внимание на то, что, кажется, ещё вчера было престижным, преподавательницы больше не скрывали своих связей с любовниками, не зашифровывали их под женскими именами, и все разговоры свелись-завязались вокруг двух тем: первая — деньги, вторая — мужчины. Тамара вдруг загрустила, она как бы выпала из бурной, рыночной жизни. Все издавна считали её “консервативной”, “старомодной”. Она чувствовала себя в своём родном коллективе как бы лишней, не такой, как все. Теперь о ней уже робко поговаривали, что она не умеет жить для себя, что старость на носу... Надо сказать, что Тамара и без подсказок подруг нет-нет, да и подумывала о разводе с мужем. Но какая женщина под горячую руку об этом не думает? В последний год, когда удачно выдала дочь замуж и когда ощутила тревогу от одиночества, к этой мысли возвращалась часто. Почувствовала, что судьба Николая больше её не волнует, что разлюбила его, и испугалась, ибо казалось аморальным даже самой себе в этом признаться.

А телефон в учительской раздражающе, как никогда, всё звонил и звонил. О, с какой уверенностью, счастьем, даже наслаждением подходили к нему коллеги, как стрекотали и сюсюкали в трубку! Даже преподавательница математики, эта кикимора, и та нашла (или купила за доллары) себе кавалера.

— Я людей ненавижу, потому что они никогда не будут способны подняться хотя бы на три ступеньки выше к Богу. Мне в музее среди чучел интереснее, — не единожды признавался Николай.

В начале их совместной жизни Тамара ещё тянулась к своему книжнику, но теперь его никчёмное философствование только раздражало её. “Олух, ничего от людей не надо требовать. Бери у них всё для себя. Все, кто может, бросились деньги зарабатывать, а ты по-прежнему ждёшь от коммунистов подачки, — отвечала она на его слова. — Библиотека, твои музеи, книги, церковь никому теперь не нужны”. Николай молчал.

Она махнула рукой и рискнула. Долго искать не пришлось. В соседнем подъезде жил Саня, уже несколько раз подвозивший Тамару на служебной “Волге”, на которой он возил очень высокого, влиятельного начальника.

Саня был разведён и моложе Тамары на пять лет. Жил он с матерью в однокомнатной квартире и второй раз жениться не спешил. Он подвёз её к окнам учительской один раз, второй, третий. Казалось, крылья несли её упитанное тело на третий этаж. Она махала ему рукой из окна и счастливо перед всеми улыбалась. Тамара выбросила из памяти последнее, самое приятное, что связывало её с Николаем: врачующее воспоминание о единственной поездке в Крым, когда они, очарованные морем, молодостью, любовью, с несказанным наслаждением слушали в городском парке музыку виртуоза — аккордеониста из Симферополя, маэстро Ковтуна.

Поскольку Тамара кое-как всё же держалась старых правил и до конца ещё не рассталась со стыдом, то сначала официально развелась с мужем и только потом взяла к себе Саню. Удручённый Николай не устроил скандал, сложил свои небогатые пожитки в чемодан и в единственном сером костюме вернулся к своей одинокой матери.

Тамара похорошела. Через день стала менять наряды, чаще заглядывать в парикмахерскую. Она охотно делилась с приятельницами своим новым семейным счастьем. Затосковали, похоже, завидуя Тамаре, коллеги: ведь она побила все рекорды — никому ещё и никогда так часто не звонили, как ей! Она, как принцесса, как королева, как миллионерша направлялась к аппарату и, не торопясь, громко начинала разговор с новым мужем. Подруги аж губы кусали: “Так повезло. Ничего же из себя не представляет. Николай был карманный, кроткий, помыкала, им, как хотела, а теперь нашла ещё лучше! Не ездила никуда торговать, а доллары в кошельке водятся”. Свою сосредоточенность и тревогу Тамара прятала в классе. Обеспокоена она была тем, о чём никто из преподавателей и не догадывался: в телефонных разговорах “влюблённого по уши” Сани постоянно звучала одна и та же просьба:

— Том, ты его, не забудь купить пива!

— В нашем гастрономе сандень. Иди в “Таллинн”.

— Ты слышь, это я. Пива купи обязательно, без пива не приходи домой.

Она успевала сказать несколько слов в ответ, но он уже не слышал. Как всегда, куда-то торопясь, клал трубку. Тамара по инерции, чтобы не выдать себя, с милой улыбкой ещё о чем-то будто просила, уславливалась, где он будет её ждать. Тонем строгой “гусыни” говорила, растягивая слова, в молчащую пустоту. Она больше не вспоминала Крым и ту известную мелодию “Бесаме мучо”, которая так ласкала её влюблённое сердце. Было это или приснилось?

ЭКСПЛУАТАТОРЫ

Надо что-то с этим капитализмом делать. Вокруг одни эксплуататоры, каждый норовит на чужом горбу... так и норовят. Вот и мои — не семья, а какой-то клубок эксплуататоров. Прихожу с работы уставший, как кит, который только что проглотил пару тонн криля, и уже с порога так и ждут все, чтобы нагрузить. Я уже и без того, как антилопа гну, которая отмахала десять километров. Коллега по работе попросил бандероль отправить, говорит, у тебя почта рядом с домом. Согласился. Прихожу, а моя почта на ремонте. Иду через два квартала на центральную, а там полукилометровая очередь, вроде газелей Томпсона, которые сгрушировались перед переправой. А что делать? Отстоял час.

Тут жена начинает первой.

— Не мог до сих пор мусор вынести? Без дела два часа болтаешься. Лодырь, тебе противопоказан капитализм.

— Это я-то лодырь! У нас в театре юного зрителя, я там осветителем служу, по три спектакля в день. Устаю, как экскаватор, который переворачивает сотни тонн земли.

Слушать не хочет.

— Что стоишь, как Дед Мороз, которому сто грамм не дали? Выноси мусор! О, тип, ещё притворяется, что не слышит, — командует жена.

Я действительно слабо слышу. Уши ватой заткнуты.

О, вы не знаете, что такое наш театр и наш зритель, когда он в ударе и когда помогает криками героям побеждать на сцене зло. Рёв космической ракеты — это вчерашний день. Тиффози на стадионах отдыхают.

— Пора тебе заткнуть не только уши, но и ноздри, — ворчит жена, — совсем от рук отбился.

— Никого так не эксплуатируют, как меня! — взрываюсь я.

Из другой комнаты, где по телевизору идёт передача “Ясновидящие и секс”, отзывается тёща.

— А тебя никто в шею не толкал. Женился по собственной воле?

— По собственной.

— Будь добр, исполняй свой гражданско-бытовой долг. Выноси мусор.

Иду вниз. Тут сосед, ещё один скрытый эксплуататор, говорит:

— Вася, поддержи дверь, я ключи забыл... На минуту в гастроном сбегаю, пузырь возьму и обратно.

Стою, придерживаю дверь... Жду... Десять минут, двадцать.

Наконец, прибегает.

— Извини, — говорит, — одноклассника встретил, сорок лет не виделись.

— Так, — говорю, — прошлый раз в такой ситуации ты говорил, что тридцать лет не виделись.

— Да? Склероз проклятый.

Вот что капитализм с людьми делает! Забывать начал. А в квартире эти окающие эксплуататоры уже накалены до предела.

— Ты что же, растяпа, пустые бутылки не вынес?!.. Рабов тут нет.

Беру бутылки, бегу вниз с неохотой. Как назло, лифт отключился, да мигом назад, на двенадцатый этаж. Слышу уже в коридорчике, что в квартире что-то неладное. Вроде кто-то причитает.

Жена с порога:

— Ты бутылки выбросил?

— Как приказали.

— Я всё понимаю, — негодует супруга, — ты можешь не любить мою мать, свою тёщу, но что бы так жестоко мстить! Племена в Африке до этого не додумаются.

— О каком мщении ты говоришь, — недоумеваю я, всё ещё тяжело дыша. — Да я ниже асфальта! Молекула!..

— Так почему ты, молекула, этикетки от бутылок не отклеил? Разве ж ты не знаешь, что моя мама их всю жизнь коллекционирует?

— Я думал, что их наша дочь давно отклеила.

— Ты за неё уроки делать будешь? Беги вниз, пока маму удар не хватил, носи бутылки обратно.

— Лифт не работает. Может, потом, после ужина?

— Нет, ты желаешь маме смерти! Беги, пока бомжи не растащили, — уже строго приказывает жена.

Скажу вам, этими этикетками обклеена вся квартира. Двери, тумбочки, холодильник, телевизор, ванная, весь туалет. Бывает, забегу — глаза разбегаются. Унитаз найти невозможно. Всё в этикетках. Эх, думаю, эксплуататоры, на всё у вас оправдание есть.

Словно подслушав мои мысли, жена иронизирует:

— Вернулось время капитализма, время эксплуататоров, забыл учебник по политэкономии?

— Как я его мог забыть, если я его не знал?..

— Да... Не быть тебе олигархом, не быть!

У подъезда соседка с одиннадцатого этажа, ещё одна, грустная-грустная. Лифт-то не работает, а она с новым телевизором.

— Подсоби, говорит, Василий! Век помнить буду! Через пять минут моя любимая передача.

Кое-как дотащили.

Только сел ужинать — дочь рыдает: не получается у неё задача! Я знаю, что и у меня не получится, но сопротивляться бесполезно.

— А что тёща делает? Она математику лучше знает! — ищу спасения я.

— Бессовестный! Мама вышивает внучке задание по уроку труда — чёрную собаку президента.

— А ты?

— Людоед! И тебе не стыдно? Я отпахала восемь часов за компьютером. Дай хоть перед сном любимый сериал досмотреть. Героя Педро оклеветали, и он в тюрьме! Неужели у тебя нет сочувствия, изверг?

Только, значит, с дочерью к десятому часу разобрались, сколько жидкости всё же осталось в ёмкости, из которой переливали в другие по трубам... Ну, скажу вам, задачка, Лобачевский отдыхает. Авторы учебника, факт, эксплуататоры.

Слышу тётчин голос:

— Доченька, с балкона дует.

Жена грозно так, как лвыца, от которой лев ушёл к другой:

— Кто последний был на балконе?

— Я не был, я не был, — с последней долей оптимизма выкрикиваю я из ванной.

— Мне дует, — стонет тётца... — Скорее бы на поезд да домой, в Крым.

Сколько живёт, всё грозитя, что уедет в Крым... Двадцать лет всё обещает.

— Кто последний пришёл в квартиру? — ведёт дознание жена.

— Папа, — отвечает дочь.

Ещё один эксплуататор растёт!

— Ступай на балкон и закрой там оконную раму. Маме дует.

На балконе холодно, но хочется посидеть подольше, дожждаться, когда все уснут, да помечтать о том времени, когда и я стану эксплуататором.

Тётца уснула в кресле, пришлось завершить вышивание чёрного пса, параллельно помог жене разгадывать кроссворд.

Только я, значит, одно место у собаки вышивать заканчиваю — звонок.

Сосед просит проверить по Интернету его лотерейный билет. Не успел я с билетом разобраться, тётца проснулась, просит рассказать, чем там передача “Ясновидящие и секс” закончилась.

Говорю, все ясновидящие видели одно и то же.

— А угадали, кто забеременел?

— Через девять месяцев угадают.

Только закончил мыть посуду, как опять звонок в дверь. Сосед, изощрённый эксплуататор, поскандалил с женой, вызвали милицию. Пришлось час побыть в роли понятого.

Утром, едва успев позавтракать, пулей вылетаю на работу. Читаю в утренней газете объявления. И, о чудо! Моя мечта может исполниться! В глубокой тайне отвожу документы и поступаю в среднее учебное заведение на заочное отделение. Сердце трепещет! Я держу в руках билет учащегося. Вот она, мечта! Железнодорожный техникум. Специальность — “Эксплуатация железных дорог”. Вы поняли, да? Вася эксплуататор. Будет и на моей улице праздник капиталистический. А то!

.....

Георгию Васильевичу Марчуку — 70!

Георгий Марчук — самый читаемый писатель Беларуси. В его произведениях закрученная интрига соседствует с глубокой мыслью, трагизм с народным юмором. Георгий Васильевич — давний автор “Нашего современника”. Сердечно поздравляем талантливого писателя, нашего доброго друга с приближающимся юбилеем. Желаем здоровья и новых трудов на благо славянской культуры.

Редакция